

Андрей
Антипин



РУССКИЕ ПЕСНИ

Рассказы

КВАРТИРАНТКА

– Да разве я, милые мои, думала-гадала, что так оно дело повернётся?! Ведь и в мыслях не держала, а теперь вот, на старости-то лет, сижу, как... квартиранка! Оно так-то бы ничего, жить можно. Опеть же, дрова не колоть, печку не топить, воду не носить: оне сáми, молодые. Чё не можно-то?! Когда и я чем... Ту же кашу сварить. Или бельё помякнуть, только шайку направь. Не совсем ведь остяжелá! Руки всё как есть помнят: и варку, и парку, и другое чё. Дак эта, Лопушиха-то, разве дозволит?!

Так рассуждала старуха Краева, опираясь всей оставшейся в ней жизнью на черенок от метлы, уткнутый острым концом в лунку. Её старуха проковыряла в оттаявшей весенней земле за то время, что так вот сиднем сидела на лавочке за воротами и ругалась с дочкой, разговаривая сама с собой.

Дочка была поздняя, вымученная. Других детей не было. Из родни какая не перевелась на белом свете, так та далеко. Случись не сегодня-завтра со старухой – и не дождёшься, легче до чужих докричаться.

В райцентре, правда, болтался пьяница Олежка, покойной сестры Татьяны сын. Но старуха не видела его так давно, что и не знала, жив он или нет. Может, поморозился на Новый год и, искромсанный, культяпый, маялся в приюте либо уже упокоился в березняке. Теперь, по подсчётам старухи, всё больше на Новый год умирали: праздники долгие, дорога от кабака длинная, проводы скорые...

Получалось, что старуха куковала одна, если не считать дочки. Но с ней-то, нелюдимой, много ли накукуешь? Скорее, завоешь по-волчьи!

– Поедом заедат: то дверь я не закрою, то чай пролью, а то ногами шаркаю. Что ты, говрю, в самóм деле?! Я чё подедаю, если ноги нисколько меня не слушаются. Как... кокоры! Всю жизнь на них, никаких я отпусков не знала. Не доведись тебе, девка! Так ей и объясняю, Клавке-то... Ка-а-а-кой там! Даже слушать не хотит. Вцепилась в холку и жулькает, как собачонку, только шерсть клочьями!

Старуха, несмотря на свои больные ноги, изуродованные варикозом, весь день, как неприкаянная, мотылялась из избы да в избу, стукая дверью, ночью бормотала



за дощатой переборкой или, воспалив свет, стригла ногти мимо газеты, лязгая старинными массивными ножницами с источенными лезвиями.

Но за собой не замечала.

Когда ей указывали на оплошность (и, конечно, так, что проглотить это не было никакой возможности), старуха обижалась и запропадала, пока не шли искать с фонариком. Чаще отсиживалась на лавочке, вкопанной в угор. Вспоминала то недавнее и счастливое времечко, когда жили со стариком одни, а дочь с мужем – по соседству, в избе через проулок, куда скочевали после свадьбы.

– Клавка в своё время кончила Иркутское торговое училище. Ну, приняла от Шуры Чемесовой сельпо! Шура-то на пенсию, а Клавка и стала... Год-два всё было ладом. А потом отмочила номер: наступила на завёрточную бумагу грязной туфлём, а в эту бумагу запаковала развесную халву и продала «вредному» покупателю, которого она с девчонками невзлюбила и на совете договорились наказать. Но этот (не буду называть) тоже... спуску имя не давал: то мелочь на три раза пересчитывает, то колбаса ему несвежая, а то жалобы строчит. Ему и подгадили! Он дознался, поехал в райком. Ишо же было советское время, большие же строгости! Клавку на другой день и попросили. Приползла, змея, да ишо выпившая: так и так, мама. «Чё ж, – говрю, – на дураках земля держится: вместе учудили, а тебя одную винят!» Заплакала, правда...

С той поры всё у Клавки пошло кóсом, а старуха взяла себе за правило называть дочку Лопушихой. Как было не называть? В магазине больше не заведовала, но и старых связей не теряла: пчёлка с цветка на цветок и мёд собирает, а Клавка совсем не пчёлка. Одну и другую беременность скрытно от матери спустила, а когда обуздала себя замужеством, оказалось, что навсегда пуста, неродяща, как худая земля.

– И этот... зятёк-то мой! – на другое плечо переваливала старуха. – Шоферил, как путный, в совхозе. Потом упёр несколько мешков кормосмеси, его и посадили в каталажку. Вышел уже при демократии: ни родины, ни флага. Хоть куда подавайся! Первое время ошивался по заугольям, праздновал вольницу. Но потом, правда, остепенился, устроился, как многие у нас, на вахты. Сутки езды от дому. Какой холерой занимался, я, откровенно говоря, не знаю. Она же мне не докладывают! А я ради принципа не спрашиваю... В конце месяца заявлялся! Тут тебе и шашлыки, и водяра, и музыка на всю вертушку. Стал и её, подлец, втравливать. Мы с дедом постращали-постращали, да как сама Лопушиха выгвоздила, чтоб не сувались, мы и не стали. А тому деятелю чё не жить? Сам прогулеванится, деньги просадит – и снова на свою вахту! Эта, дура, снуёт по людям, лезет в долги. Исти-то чё-то надо... А платить с каких денег? Он ведь ей не оставлял ни копейки! Вот так и жили – одним днём. Ну да мы с дедом после того раза не касались...

И это было ещё полбеды! Дочка, хотя и без царя в голове, всё делала по дому. Весной огород и у себя, и у них, стариков, посадит, осенью – поможет убрать. Когда и постирает, и побелит, если самая старуха не раскачается. Зять от вахты проспится, в дело сгодится. Вдвоём со стариком управлялись: где пятеро не осият, там этот боров шутя перепашет, кто бы подсказал да направил. Старуха хоть всё чаще и хворала, но и ей забота: гоношила обед да мыла в железном тазу посуду, или просто служила на побегушках...

На неё словно наплыло облачко. И старуха вдруг увидела отсюда, из сегодняшнего весеннего утра, что не совсем они были пасмурные, те далёкие дни! Всё

померкло, как умер старик, и дочь под руки увела мать к себе. Продать она, что ли, решила её избу за материнский капитал или подселить на лето отдыхающих, – а только осталась старуха без своей крыши. Годы её были такие, что спорить не станешь. К кому-то уже надо было приткнуться, а старухе и приткнуться больше не к кому. Её потому никто и не спрашивал. Сказали собираться – она и подпоясалась.

У дочки жила эту зиму, за которую старуха осунулась и посохла, так что одёжка висела на ней, как кора на гнилом дереве. Слышала она уже не с первого раза, а пока не пошевелит в ухе булавкой. На веке соскочило фиолетовое пятнышко. И ещё тоска, глухая печаль назрели в голосе, чего за старухой никогда не водилось, а она, понятно, подсмотреть за собой не могла. Но всякий знавший её подтвердил бы, что это так.

Появление этих напастей старуха относила на тот счёт, что стронули с насиженного места. То, что сманили ради пенсии, высчитав, во что обойдётся старухино содержание и сколько перепадёт чистым наваром, об этом смекнула гораздо позже, когда ничего нельзя было попятить. Старуха и не заметила, как они ловко скрали её! Но если от родной дочки можно было и потерпеть, то зятю старуха не прощала, и едва он чем-нибудь поддевал её, она в ответ зубатилась. Тогда и дочка поднималась на неё. Приходилось убираться с глаз долой и, как нынче, сидеть на лавочке и в воздух вымещать свою обиду.

– Встанет, когда солнце к закату повернёт, нажрётся до поросячьего визга. Ну, опять на боковую, телевизер посматривает! – разговор снова возвращается к зятю, который год или два назад бросил свои вахты, жил вместе с женой на старухином иждивении. – Нынче по зиме воротчики в поле оборвались. Ско-о-оль раз напоминала?! Договеться нельзя! Зубы свои жеребьячи оскалит: гы-гы-гы! Тьфу, сволочь... Пойду шас подопру чем-нить, а то чё ж будут стоять на растопырку. Мало что не живу там! Коровы зайдут в огород и всё ископытят. Да те же наркоманты шарятся, конóплю промышляют! Залезут в амбар и утащут дедовскую бензопилку...

Нет, не всегда так было в её судьбе! Был бы жив старик – и воротчики были бы налажены, и сама не ютилась бы на чужбине, и никто бы не посмел ею командовать. Но только что теперь искать виноватых? Что толку сидеть и жаловаться? Никто не пожалеет, хоть до посиненья проторчи на этой лавке.

– Всё-ё, ребята, хва-а-атит! Спасибо, пожила по распорядку. Я вот ишо посмотрю-посмотрю на ваше поведенье, да, пожалуй, подамся обратно. Пеняйте на себя! Мне-то почему не жить? Своя изба под боком. Ходить за мной не надо: я не лежачая! Пенсию какую-никакую выслужила. Сколь мешков одной только пшеницы переворочкала! Никто не отнимет... Ту же Гальку-квашёнку найму – и побелит, и по воду сходит, и в магазин когда... Да я и сама могу! Много ли мне, одной-то, надо? Дров на зиму куплю. Парни Логиновы привезут прямо наколотые, я тот раз с имя́ разговаривала: восемь тысяч за эту машинёшку бортовую берут... (Но это сырвяг, а сушняком – дешевле. Много, конечно, в любом случае, а чё поделаешь? Топиться-то надо!) Однем словом, с умом-то можно. Не пропаду, не беспокойтесь! Ишо даже лучше заживу. По крайней мере, спокойнэй! Сама себе хозяйка. Я не отплёвываюсь, но давайте-ка по справедливости! Что вы мне кофту с цветными пуговками подарили, дак это на мои деньги, и вы меня не корите! Ты, сука, все мои ночнухи потаскала на тряпки, сказала, что эти обноски только

в печке сжегчи, а я хожу, как нищая, за ворота показаться стыдно. Тебе самой-то – как? Я, конечно, смолчу, а вот люди – оне видят! Оне скажут, люди: стяжёнка задрыпанная да боты суконные – и всё приданное у баушки. Пойдут тебя, девка, склонять! А то как? Ты дочь, ты обязанная! Меня-то с дороги не спихнут, что я хожу такая, а вот тебе, дорогуша, любой в морду плюнет. Тебе же, наверное, не понравится! Но ведь и в самом деле: сколь ишо-то галиться надо мной? Я вам, милые, не пешка, а живая душа, и попрошу впредь с етим считаться. Нет – дак вон она, литовка, на перенбарке! Или, куда лучше, – в Лену...

На глаза набежало, и старуха заплакала, но не навзрыд, а словно параллельно голосу, точно голосом говорило одно, а слезами – другое, самое сокровенное, что словами не скажешь. Поплакав, помакала лицо в платок, разостлав его в ладонях. Потом не сразу, с раскачки снялась, подперев себя палкой, и поковыляла в избу: дочка с зятем через час-другой проснутся, так хоть картошек пожарить! У самой изжога в кишках, а они, молодые, любят со шкварками. Ей бы слаз в подпол осилить да на уличной кладовке, где сало, отомкнуть замок, который прихватывало заморозком, потому что этот дурак накапал в скважину летнее масло – оно, наверное, и застывало до этих пор, хотя была уже середина мая и разлившаяся мутная Лена подоткнула угор огромными мёртвыми льдинами. И в час, когда старуха ещё сидела на лавочке, а солнце вставало над деревней, льдины обтаяли и зазвенели, музыкальные, расслаиваясь поначалу стеклянными волокнами, а затем тенькая частым коротким дождём. Ну да ночи всё равно были минусовые, с крупным белым инеем на тротуаре и на жёлтой летошней траве, и пока старуха стояла в длинной тени ворот, прислушиваясь, поднялись или нет в доме, галоши её отпотели оттого, что ноги грели, а от земли шёл нутряной холод Севера...

Зайдя в ограду, она первым делом вынула из кармана коробок со спичками. Чиркнув несколько, поднесла и стала греть замок на кладовке, а когда задуло ветром, сверх того заплевала для верности, чтоб не наделать пожара, откинула на сторону и зажгла другие. И всё думала, думала, думала!

ОДИНОКИЕ ЛЮДИ

Балясина огородная. Худой, как беглый человек. Плюс активно некрасивый. С большим носом горбом и маленькими жёлтыми глазками.

Поздороваются при встрече – и он в ответ буркнет, а нет – лица не поднимет.

С рожденья инвалид на голову, получает пенсию. Пишет фамилию в ведомости большими печатными буквами да деньги считать умеет, шумно листая купюры. И только.

Зовут Вовкой. И отчего-то на этой, разговорной форме красивого имени Владимир – владеющий миром – нервно настаивает. Возьмутся старухи звать, чтобы посидел с ними на угоре (старухи любят поговорить с детьми и дурковатыми), назовут как-нибудь иначе, а он и поправит: «Я – Вовка!» Что ещё?

Пожалуй, из последних новостей: по осени перебрался к дурочке с переулочка, у которой дикая судьба. Жила-была нормальная, ходила в школу. В восьмом классе отец-вдовец стал домогаться, выскребал кочергой из-под кровати. Пошло помешательство. Собрали справки и отправили в Иркутск на Гагарина, 6. Назад прибыла с заключением: такая. Отец давно умер, кукует одна. Лет на десять старше Вовки. Жили (по разговорам) так: сядут пить чай, разрежут буханку вдоль – спорят,

кому горбушку, кому – мягкий низ! Ну, как-то сладят, намажут маслом, а сверху вареньем, – и едят, смеются, облизывают пальцы. Вечером – режутся в «дурака»! И всё бы ничего, да подоспели родственники, развели в разные стороны...

...Вовка водку не пьёт, но курит. В посёлке показывается редко – в магазин да на почту за пенсией в положенный день.

Летом часто на реке. Сидит на камнях, выстав перед собой длинные ноги. В руках – нет, не тонкая сосновая хворостина, а – китайское выдвигное удилище. Настойчиво топит глазами поплавок, как бы понуждая: «Клювай, падла!» На щеках – ямки: тянет дорогой «Кенон» (и это тоже его примета – курить импортный табак). Сплюнув окурок, жуёт всухомятку булочный, от таскания в кармане загрязнившийся мякиш. У ног, свернувшись, лежит белая пушистая собачонка. Спит или по примеру хозяина смотрит на проткнутую спичкой винную пробку, застывшую на воде: мелкая рыбёшка – ей...

Если подойти ближе, то собачонка вскинет голову. Не залает, а широко зевнёт, выгнув мягкий пластилин языка, – и снова кемарит.

– Не будет клёва, – подавая сигареты и спички («Угоща-а-айся-я!»), с дымом выдохнет Вовка.

– Почему?

– Ветер с откуда? Снизу!

Медленно подёрнет серебристую леску. Морща обветренный носище, брезгливо рассмотрит на весу нетронутого червя.

– А я вчера миску пескарей надёргал прямо с лавни! Во-он, где лодка Петра Глебыча... – сообщит доверительно. – Жирны-ы-и-и!

– Сжарил?

– Не-а! Сварил на сковороде, а сверху ичками залил... Да ички-то какие-то пошли – с двумя желтками! Я их зараз восемь штук поколол ножом – по-о-олная сковородка!

– И зелёным лучком приправил?

– Ага! Схавали с мамкой... Тьфу! – Вовка три раза смачно плюёт на извивающегося червя, приговаривая: – Ловись, рыбка, большая и ещё больше!

...Или ещё занятия: бьёт берцами первый лёд в болотине за магазином, доставая ольховой веткой до дна. В лесу, надев пустое ведро дужкой на руку, ворошит палкой сухие листья, натывая на сучки синие от старости подосиновики – белкам на зиму. Один ли, с матерью ли везёт на тачанке куль сахара либо муки, взятый на почте под пенсию.

Мать у него – тоже... И летом ходит: тёплые рейтузы, кофта на пуху, байковый платок, галоши со вставным чулком. В мутных глазах – кровавые молнии. Рот замкнут и скорбящ. Губы – поджаты. О таких людях думаешь, что они знают о жизни что-то такое, отчего сплошная рана в душе, словно из окошка вынули четвертинку, и всё теперь зияет и сквозит...

Но чаще видно, как Вовка при всякой погоде идёт в Казарки по хлеб-соль.

Подымахино – село старинное, в основателях – русский казак Ивашка Подымаха, который срубил на ленском угоре зимовейко да и поселился, поднял (отсюда название) пашни. До поры в селе были и магазин, и почта, и фельдшерский пункт, и клуб с регулярным кино (разумеется, плёночным). Нынче ветхость и вёрткость в народе, в избах – пестрота городского обличья, усмирение старой резьбы.

И вот – Вовка с матерью...

Запахиваясь в камуфлированный полушубок (это у него тоже – стиль), бредёт в пургу – шаткий, как соломинка. Интересно, что рюкзак всё время полупустой, хотя недостатка в продуктах нет. Однако и ходит Вовка в магазин почти каждый день. Или это специально – повод, чтобы идти?

Сутулясь, шалашиком складывает у лица озябшие ладони. Долго чиркает спички. Ему отчего-то надо курить на ветру! Может быть, пурга навевает невесёлые мысли, от которых – хоть в петлю? Наконец, подносит горящий серник ко рту.

Он приходит домой (это я уже домысливаю), вытряхивает на стол: гречка, пакушка чая, сигареты, сахар, сканворды с комиксами...

В избе – серо... Хотя нет. Это мы из высокомерного невежества представляем: паутина на окне, на печи – чугунок с затхлым варевом, в углу – горка луковой шелухи, а на лавке бородатый мужик ковыряет шилом в валенке! Нет, там чисто побелено, на полу – связанные из разноцветных лоскутов кружкí, а порожек, похожий на выеденную арбузную корку, высокоблен тупым ножом. На прибитой крашеной доске – ворох газет на растопку. В зале, в переднем правом углу, – современный японский «телик». Правда, показывает один снег: второй день как нагнуло ветром жердь с витком проволоки на конце, установленную над крышей (а им с матерью и не надо!).

Вот Вовка насыпает в вазочку конфеты. Вот они – мать и сын – пьют чай. В кухне – уходящего вечера свет, жидкий и бледный, как сыворотка. За окном то же, что и в телевизоре, – пурга. Сосед, сухой от старости, в залатанной стёганке вышел за ворота. Осмотрелся, поочерёдно высморкал на снег обе ноздри, повозил пальцы о штанину. Или: с утра забыл колун у поленницы и теперь рыщет голыми руками в сугробе. И, конечно, материт старуху – варежки не связала, а там и Бога – распустил небесную канцелярию, а варежки старуха не связала!

Вовка – в кухонное окно, долго и пристально – смотрит на старика. «Завтра у Петра Глебыча алюминиевой проволки спрошу (он работал на почте монтёром, на штырях под поветями – видал я через заплот – огромные бухты проволки!), да сплету к весне корчажку – ельчишек ловить... А может, не плести?»

– Какая, мамка, ещё конфетка есть! – шуршит трескучей обёрткой. Хотел бы, наверное, сказать «мама», но что-то мешает.

Разговаривают.

О чём? О Боге? О барине? О России державной?

Да нет же!

Снегу навалило, а к утру не отпнёшь ворота... Давно бы крыльцо пристроить с другого бока, куда не замечает... А то забрать досками (веранда!) и навесить дверь...

– Сколь отец твой собирался?! – хрипит мать, сковырнув прежнее, зыбучее, истёкшее в свой земной срок туда, куда скоро и ей дорога. – Всю жизнь просо-бирался! Вот и самого давно нет, а крыльцо – как стояло. Лежит себе... кости сгнили уж! А мне тут как хочешь...

Низко нагибает – словно боднуться с покойным родителем – косматую голову:

– А я работаю, мамка!

– Ты-то – ага! На калитке своротка перетёрлась, сколь раз напоминала – ка-ак об стенку горох! Так что сиди уж!

Машет рукой, будто мух отгоняет, а у самой брезжит в груди: сделает сын!

– И сработаю! Возьму весной у Петра Глебыча лодку, досок наплаваю: сколько добрых досок несёт по речке?! Это пилорамы в городе размывает!..

Внезапно и с глубоким беспокойством:

– А вода есь в бочке?

– Есь на питьё... Да тоже – пить! Нынче заглянула: пивка ползает по дну... А почему спрашиваешь?

– Ноги зудятся. Наверно, шерстинки от носков наели.

– Дак завтра баня!

Сопит, соображает.

– Где кусок линолюма, тот раз я приносил? Мне Клава давала, у них оставалось...

– Там.

– Где там?

– Ну там же!

– А-а! Я тогда из него стельки вырежу. От них не потеешь.

– Мне тоже вырежи! Валенки-то с левой ноги износился на пятке, я ваткой заткнула – а чё толку? Кинулась полы подтереть, как ты ушёл, а потом воду выносила за угол... Вот и потеряла!

– Вырежу, ну! Сказал же!

И уже собирается:

– Пойду! Не могу я так...

– На ночь глядя?! Там и прорубь-то замело!

– Я, мамка, разве дурак?! Я же ломом потыкаю, ну!..

Уходит, окунувшись в поднятый воротник, только нос и видать. Гремит в сенцах вёдрами.

Старуха следит за сыном в окошко, протаяв согретой в руке монетой (отдал сдачу!) наледь на стекле.

«Совсем взрослый уже, четвёртый десяток пошёл. Женить бы, нехорошо побылём. Чё ему с большой матерью? Считай, мученья одни! Или же взять да умереть на Паску; тогда, может, и пойдут в пустую избу. Та же Галька-квашёнка... Конечно, завалит! Хорошая изба, крыльцо вот только... Шарф одел ли? Месяц шарф вязала на собачьем пуху... Надо Кнопке утрешнего супа дать полачить! Всё равно Вовка исть не станет, такой уж характер – утрешнего в рот не возьмёт... Чё ж, весь в отцовскую породу! Какая за него пойдёт?!»

Пуржит, сеет белым. Корчатся – перехлёстываясь – в электрических судорогах провода. И – как голос иных времён – стучает в окно сорвавшаяся с привязи ставня.

«Надо сказать, чтоб новый крючок загнул из гвоздя, а то – жу-утко...»

GAME OVER

1

Жил-был на улице Береговой дядя Веня. Работал на лесопильном комплексе (или просто пилораме) водителем трелёвочного трактора – красного, советского, с расхлябанной дверцей, битой кабиной без стёкол и с покатою каторжной спиной, надранной до сталистого цвета: трелёвщик, как жук соломинки, таскает на себе вязанки брёвен или прёт из лесу массивные хлысты

Последние, вздыбаясь ворочающимися гусеницами, с вулканическим рёвом мотора и истощным напряжением тросов наваливает на хребёт толстыми комлями, а стволы волочатся позади, и зимой ли скольжением вершин по снегу, летом ли трением их о землю, но кроме шороха ошкуривающейся коры и стука на поворотах издают длящийся скрип или даже визг, примерно такой, какой можно извлечь, намылив кожаный ремень и с силой потянув через сжатую сухую руку.

Ползёт этакий исполинский жук по деревне – всякая мелкая вещь в доме заходит нервным тиком, и клацают стёкла, как будто из-под земли раскалённым снопом свищет и ударяется об пол пульсирующая магма.

Там, где трелёвщик обруливает тесный перекрёсток, он на мгновение замедляется и, заскрежетав одной из двух гусениц, в то время как другая остаётся недвижимой, и ломтями ископытыв из-под себя спрессованный снег или землю, вдруг резко кивает башкой в сторону, противоположную той, в какую минуту назад правил. Башка у него не по центру, а на левом плече. И кажется, что жук неуклюж и косолап от природы, и сам ли или запрудившими улицу хлыстами, но сокрушит если не дом у дороги, то угол ограды, не защищённой железной трубой, которую надо вкапывать на поворотах с некоторым отступом от забора – для отражения хлыстов или волокуш с сеном. Тут хочешь не хочешь, а если нет винтового столба, то обязательно пересчитают штaketник. И тогда хозяин, заслышав треск, спросит хозяйку:

– Дрова, что ли, привезли соседям?

Хозяйка, проворно выскочив на крыльцо, уже кричит на всю Ивановскую:

– Какие дрова, дурака кусок! Ползаплота своротили...

Ничего не поделать! И вот уже хозяин подпирает кольями забор и материт Веньку и хозяйку. Но если поруганье хозяйки даёт ему хоть какое-то удовлетворение, то с Веньки ничего не взыщешь, и всякий скажет:

– Кто это в тебя въехал?!

– Ве-енька, ка-азлина! Как хреном снёс!

– Надо ж было винтовой столб вкопать!

– Да всё как-то так...

2

На работу в соседний посёлок ходил дядя Веня с характерным приплясом, поднимаясь на носки кирзовых сапог и опадая на пятки, словно всякий раз собирался в пружину, готовую в следующий миг выстрелить лязгающей сталью. Он не прилагал к этому усилий, а просто весь вчерашний день трясло и, сошедшему на твёрдую землю, ему всё зыбко и хлипко, и даже ночь не устаканила его. Так вода в ведре, стукнутом о лавку, наслаивается и дрожит, выплёскиваясь через край. И оттого же, отчего происходило это дрожание, звенел на зубах стакан, в который дядя Веня, придя вечером домой, нацеживал из-под электрического самовара, торопясь и вынув вентиль из носика, чтобы бежало с парком по обоим дырочкам разом.

По кругу дяди Вениного рта, как эта известь на самоварной крышке, к тому времени откладывалась белая соляная плёнка натёкшего со лба и высохшего пота. И он пил, давясь кадыком и не обжигаясь, как будто горло у него было не из мяса, а из свёрнутого трубой и пропаянного по шву листового железа.

Рот у дяди Вени тоже был по-своему характерный – большой и плоский, как у древнего иллюстративного человека из учебника биологии, и такой же во всякую пору унылый. Это было не с рождения, а прямым следствием жизни, точнее, некоторых её обстоятельств, в которых все до одного варились и незаметно выварились во что-то измытое и утратившее очертания, кроме черт какой-то всегдашней скорби. Живые естественные колебания если и проявлялись, то редко и не подлинно, существуя в половину замаха души, между тем как безучастье последней к жизни и к себе в частности было развинчено до упора.

Он, дядя Веня, дожив до конца атомного века, по чужой, своей ли воле, но словно вернулся в те времена, когда волосяной петлёй ловят рыбу в реке, ночью спят вполглаза, ибо саблезубые за каждым кустом, а в руках только раскаченный из пещеры камень, да копьё с обугленным концом, да сам огонь, принесённый на ветке из синей грозы. И пусть всё кругом, сама природа молчит, что это именно так, что кони проданы и преданы знамёна, он, дядя Веня с его первобытным скорбным ртом, какому уже не до речей и лозунгов, а лишь бы корни жевать да глотать летящие ядерные стрелы, всей своей жизнью раскрылся до трагического излома и, сам того не постигая, обозначил: хищники рядом!

3

Волосяной петлёй, допустим, рыбу дядя Веня не ловил. Но уже весной, когда по быстрой полной Лене плывут куски последнего льда, а то похожие на огромные осиные гнёзда валки сухой травы, которую счесали граблями и вытряхнули в реку, мывшую высокий угор, дядя Веня объявлялся на берегу. В одной руке держал консервную банку с червями, нёся за отогнутую зубастую крышку, в другой – закидушку. Была она одна-единственная, с деревянным мотовильцем, истыканным крючками. Грузилом служила тяжёлая гайка наподобие той, какие во времена Чехова промышляли на железнодорожных рельсах «всей деревней», а нынче дядя Веня, недолго поискав глазами, отвинтил от своего ТТ-4 и сказал: «Лишняя!»

Основу дяди-Вениной снасти составляла зелёная шерстяная нитка, вся в узелках. Когда ребяташки, пристраивая рядом свои кривые сосновые удочки, спрашивали, почему нитка, а не леска, дядя Веня спокойно объяснял:

– На леску деньги надо! А где их взять?

4

Как сейчас, стоит дядя Веня перед глазами, руку на сторону отведя, словно пашенный сеятель, но не бросает широким жестом окрест, а, наоборот, загребаёт к себе, выбирая из реки свою закидушку. Первые метры кладёт под ноги, а как только покажется рыба – перемещает нитку вниз по течению и сам следует за ней, медленно приближая к берегу. На лице такое напряжение, точно в руках у него, по крайней мере, конец невода.

Не беда, что чаще попадались пескари да ерши, потому что закидывал дядя Веня в заводь за бруствером, где ил и мёртвые водоросли, которые нанизываются на нить и скользят, спутываясь на узелках и поводках. Дядя Веня терпеливо снимает, стараясь не засадить крючок. Наживляет свежих червяков и поправляет тех, что оползли с жала.

Вот, двумя пальцами ущипнув нитку недалеко от грузила, раскручивает в воздухе зелёным колесом. Забрасывает почти нежно, боясь оборвать. Трепыхаю-

щуюся рыбёшку подхватывает в алюминиевую миску и дома варит в сковороде, заправив укропом, перистым луком и посолив из горсти.

Глаза у сваренных рыб выкатываются белыми дробинками. Из разлезшихся животов капает жир. Его вместе с присохшими к сковороде плавниками и кишками дядя Веня подчищает хлебной коркой и, растрепавшуюся и набухшую, полную тепла и наслаждения, проворно запихивает в рот.

5

Когда летом, в жару, прибежали купаться – и, конечно, именно там, где по случаю воскресенья уже с утра стояла закидушка, – дядя Веня, промелькнув прежде в кухонном окне, обращённом на реку, хлопал калиткой на пружине и спускался под угор. Но никогда не кричал и не дёргал за волосы (хотя с рыбой от него «уплывал», наверное, и ужин), а молча сматывал свою снасть, подняв отсыревшее мотовильце к груди: спина гудела от сидячей тракторной работы, и мотать внаклонку было тяжело.

– Зачем ты её убираешь, дядя Веня?! – спросишь, дурак холёный, шелестя обёрткой бугристого «Сникерса».

– Да вы же, ё-моё, всю рыбу расшугали! На ночь, может, поставлю... – наспит и тут же разгладит брови, в которых ни сединки, как весь дядя Веня – одна лишь загрубевшая молодость да сила косная, не умеющая саму себя выговорить. О, ещё вчера эта сила клокотала парусом, а нынче волочится, обдираясь о кусты, и вся надобность в ней – чтобы мучительно иссякала по закоулкам и никаких исполинов больше не поднимала в рост. Но поймёшь это с годами! А пока дядя Веня для тебя – неизвестная грустная жизнь, и лишь одно у вас на двоих – этот ветер в лицо.

6

Чем ещё позвать дядю Веню из памяти?

Был он черноволос и приземист, с вмятым русским лицом, выбритым в любую пору и, судя по всему, чаще иступленными лезвиями «Спутник». Их мужики не выбрасывали, однажды разжившись новыми и уже заездив каждое, а складывали в бане на подоконник, и когда расходовали последние из пачки, а денег не было, – перетасовывали мыльные и склеившиеся, пробным надрезанием ногтя мобилизуя лучшие, и скоблились ещё неделю-другую этими лучшими. Но со временем и они переставали скашивать щетину и лишь изгрызали, как у дяди Вени, лицо, не срезая, а срывая редкие прыщики на подбородке, прожжённом тройным одеколоном и потому всегда красном, будто наветренном.

Руки у дяди Вени были с крупными уродливыми венами. Тяжёлые, комкастые, всё равно что выдавленные на разбитом шаблоне. Подними их, эти руки, на свет – и увидишь в ладонях ороговевшие мозоли от рифлёной головки рычага.

О том, что дядя Веня был трактористом, говорило и другое. Если его, пешего, окликали в дороге, он тормозил не сразу, а спустя сколько-то шагов после того, как окликнули, и непременно оборачивался весь.

В тёплое время, о котором речь, форсил дядя Веня в линялой футболке с наполовину сползшей наклейкой или в простой ситцевой рубахе с подвёрнутыми рукавами. Из кармана рубахи, словно советский мандат, краснела надорванная с угла пачка «Примы».

Его обычной рабочей обувкой были кирзачи, а дома он переобувался в мягкие тряпичные тапочки, прошарканные до дыр, в которые были видны большие пальцы. В этих же тапочках появлялся на реке или сидел на лавочке за калиткой, накинув ногу на ногу.

А в сетку, с которой дядя Веня возвращался с пиломарамы, при хорошем клёве ловился разве что хлебный кирпич, загрубевший за день лежания на прилавке, да банка просроченных консервов без этикетки.

7

Смута росла. На лесопилке, как и в стране, поменялась власть, и государственного служащего заткнули частником. Трелёвочными работами становилось всё труднее добывать кусок хлеба. Латанная-перелатанная закидушка если и подкармливала, то лишь с весны по осень, и то скорее мазала по губам. А жизнь всё больше походила на ту шерстяную нитку – страшно потянуть и оборвать...

И последний год или два своей жизни в посёлке дядя Веня, как многие наши мужики – не нацелено, но при случае, направляясь, скажем, в гараж, – мышковал в канавах стеклянные бутылки с капроновыми пробками. За пробки торговцы палёной водкой, ещё не обзаведясь закаточными машинками, рассчитывались сигаретами «Прима» или «Луч», требовалось лишь, как прыгающему за монетками Марио из компьютерной игры, набрать этих пробок определённое количество и получить бонус.

8

Так бутылочное стекло в конце концов превращается снова в песок, как дядя Веня из рабочего человека стал никем.

9

Жена дяди Вени – или, говоря демократически, «сожительница» – пожалуй, немного смахивала на сухопарую героиню из «Зимней вишни». Никто, правда, не подныривал своим высоким лицом под её низкое (тоже, как у дяди Вени, чем-то в любое время сокрушённое) лицо цвета подмоченного сахара, не целовал на крыльце в некрашенные губы, обняв зябкую и утреннюю. Да и не было у неё никого с высоким лицом! Ведь не станешь считать таким сожителя, который воротился с реки и – пещерный, лобастый! – колотит об стол жестяной плоской с присохшим ко дну гольяном.

Жили они бездетно в брусовом доме на четыре квартиры, каждой из которых, помимо части огорода и надворных построек, полагалась маленькая веранда с множеством узких стёкол. Работала дяди-Венина сожительница дояркой в совхозе. Как водится, управлялась и за скотницу, догоняя цены в магазине, но догнать не могла. Приплеталась вечером, себя не чуя, да и он возвращался – ничуть не живее.

Занятые рабочую неделю сплошь, слабину находили в воскресеньях.

В майские, например, плавали на тот берег Лены – к ольховым кустам, куда вышла весенняя рыба. Если замечали на фарватере отставшие от пассажирского теплохода бутылки, то поднимали вёсла и некоторое время сплывали следом, а потом что было сил гребли, взявшись вдвоём за лопшайки, по косой линии к берегу, срезая обострившийся угол смыва лодки по течению от назначенного

места приставания. И весь день сидели в кустах с деревянными, и разошшимися, и чёрными, и выющимися удочками, воткнутыми под ноги заточенными комлями, забросив пенопластовые поплавки и единственную закидушку с шерстяной ниткой вместо лески закинув, и щипали от хлебного кирпича, и жевали, и курили свой вырученный табак, туда-сюда передавая последний окурочок.

10

Потом на лесопилку наложили арест за незаконные рубки, а в совхозе забывали платить, да было и нечем, – и дядю Веню с сожигательницей повлекло из посёлка. И, оказалось, в разные края. Как-то так грустно ведётся у людей: гнездятся под одной крышей, сидят в дождь на крыльце, а по субботам ходят в баню, и однажды, кажется, забывают то время, когда жили порознь, и думать не думают о том, что может случиться уже завтра. Но вот приходит это завтра – и никакие незримые нити не рвутся, а просто он и она, взаимно уплатив по счетам, без всяких бурь и качающихся на ветру скворечен разлетаются – и навсегда. И не хотят знать друг о друге. И не здороваются при встрече. Или здороваются, как чужие. И живут сами по себе. И совсем не задыхаются от разлуки. И умирают каждый в свой час, не простившись друг с другом...

Так, наверное, вышло и в этот раз.

О ней до сих пор ничего не слышно, а вот о дяде Вене лет десять назад была весть: умер в городской общаге. Однако прежде, чем умер, его забыли в посёлке, и нынче дядю Веню поднимет в разговоре разве что кто-нибудь из его близких знакомых, да и те, что ни год, то через одного теряются в кладбищенских тупиках. Но всех ведь и не запишешь в святцы: сколько их, таких-то, жило-было и незаметно изошло, когда двинулась вода, разыграл огонь и разверзлась твердь! Теперь, пожалуй, только сердцем и помянешь их в добрый час, потому что во все века такие, как дядя Веня, были не просто людьми, соседями, земляками, с кем рядом живёшь и дышишь, а живой невысказанной правдой, которую в первый раз познаёшь на этой земле и учишься любить.

ЩОРС

У меня большое горе – умер близкий человек, которого я едва знал. Как его звали, кем он был при жизни, сколько ему было лет – теперь неважно. Ведь с некоторых пор начинаешь понимать, что человек, в сущности, только то, что останется от нас после смерти. Но как узнать, что останется, а что – нет? Ну, родственникам, предположим, одно, что-нибудь вещественное и материально ценное. А простым людям – землякам, соседям, знакомым? Которые жили-были в нашей жизни, и в чьей жизни мы сами жили-были? Тем, кто ничего не отсудит, не вырвет из фотоальбома под лязг поминальных вилок и не получит по квитку в сберкассе, а всё же будет жить и помнить, что мы, такие-сякие, были. Или не будет помнить. То есть, иными словами, что нетленно? Разве предугадать! Только смерть производит необходимое обострение деталей.

И вот человек уходит...

Раньше о нём сказали бы: «без роду-племени», но не потому, что ничего не было за душой, а оттого что всё в горький час пущено по ветру, который, кажется, затем и свищет на Руси, чтобы толкать в спину и засыпать рот снегом. Вот и этого

человека – толкал, толкал и утолкал в сосняк за посёлком. Он, правда, сам приближал землю, паруся всей своей жизнью. О ней я ничего не знаю: мой близкий был из пришлых. На моём веку разверзлось воронкой и всплыло обломками: щетина верблюжьей колючкой... сутулость пожившего человека (хотя был он ещё не так чтобы стар), когда даже малая поклажа – например, сумка с хлебом или кочан капусты – кренит... волосы – седые с чёрными вкраплениями, всё равно что уменьшенный на фото сверху заснеженный обугленный лес... брови тоже заснеженные и обугленные... и под этим заснеженным и обугленным – глаза... Я так мало знал этого человека, что не скажу, какого цвета были у него глаза! Но взгляд помню, как сейчас. Такой не просквозит, не проскользит, а вберёт на миг и, пропустив через себя, скорее обтечёт, как речная вода камень. И гадай: или ты ничто перед этим взглядом, или этому взгляду – лишь бы течь.

Именно такой взгляд был у моего близкого. Он как-то так удачно вязался с его натурой и говорил о ней столь много, словно основным фрагментом заканчивая мозаичный образ, что сообщать что-либо ещё к описанию этого человека нет причины. Прибавлю только, что всегда и всюду покойный ходил с лыжной палкой. В ней с годами обнаружилась прямая необходимость: что-то засело в ногах, волоклось гириями. Палка, спасая положение, тюкала чуть впереди, одновременно и подпирая, и намечая рубежи, которые нужно одолеть. И так они – человек и палка – передвигались по посёлку, раз или два в день предпринимая черепаший марш-бросок от дома к магазину. Обрато шли живее. Палка даже отставала, шаркая металлическим концом о кожаный задник ботинка. Из-за пазухи человека торчала стеклянная рукоять гранаты, которая, едва захлопнется дверь берлоги, рванёт в самую душу, а перед глазами полетит ключьями и застелется плотным дымом...

Полученная пенсия, как водится, заканчивалась в самый неподходящий момент. Печальный миг наступал спустя некоторое время после того, когда деньги, собственно, и были выданы на почте, а мой близкий устремлялся в беспримерный загул с привлечением в дом сомнительных личностей, известных и неизвестных хозяину. Шабашу на его поляне способствовало то обстоятельство, что жил человек на Береговой в обгоревшем доме: несколько лет назад случился страшный пожар, выгрыз три двухквартирных дома, а берлогу только облизало красным языком да обглодало штакетник, наслонявив пеной пожарных машин.

Никто из нормальных поблизости не селился.

Но этот человек, по общему мнению, был ненормальным. Иначе как могло случиться, что ни жены, ни детей у него не было. Во всяком случае, никто не навещал его раз в пятилетку и, поставив чемоданы на землю, ещё от калитки не кричал: «Па-а-пка!», а затем, лёгкого и сухого, выбежавшего с мокрыми глазами на крыльцо, не тащил в охапке через всю веранду. Вместо этих, тащивших кого-то другого, спали по углам разные прочие, просаживали пенсию, обирали пьяного, а иногда и поколачивали. Чаше гостили лесорубы, у которых жизнь чересполосицей: зимой – вахта в лесу, с весны до будущей вахты – отбой. Некоторые путались, блуждали круглый год радостные и веселые, возвращаясь в память только тогда, когда их без шапок заносили в медпункт и натирали мазью Вишневского. Для них-то мой близкий и стал встречающим-проводящим, как в песне: «Кореша приходят с рейса и гуляем от рубля!» – и, охотно справляясь со своими обязанностями, по-отечески дисциплинировал:

– Давайте, мужики, чтоб всё культурно, без всяких там закоулочков! Ну, захотели посидеть – пришли ко мне...

Культурно бывало не всегда. Время от времени забегаловку накрывала старшая и тоже одинокая сестра хозяина, бывшая школьная вахтёрша, год или два назад скочевавшая в город, и ещё с порога организовывала шухер. Кто-то испарялся сам, а для кого-то определяли вектор движения подручными средствами, и эти скребли обстрелянные головы, уже на улице с болью переживая произошедшее:

– Она что, совсем опухла?!

Однажды сеструха увезла брата к себе, сманив щадящим графиком «день-бутылка». Он вскоре взбунтовал: «Что я – алкоголик?! Пить по расписанию...» – и вернулся. И снова у него загудело! И гудело всякий раз до тех пор, пока мой близкий не поднимался, с грохотом отодвинув стол, и, нависнув над столом, не заявлял громким шёпотом: «Я – Щорс!», после чего садился, стараясь не мимо стула, и больше ни сам не говорил ни слова, ни другим не давал одним только своим взглядом.

Что он хотел этим сказать?

Теперь не узнаешь. Как и того, почему пальцы библиотечарши, обежав выдвинутой ящичек, ни за что не отыщут читательскую карточку того, кто называл себя Щорсом. И почему, надев единственный костюм, этот Щорс не ходил к школе на митинг в честь Дня Победы и не цепенел, как все в минуту молчания, оглушённый тиканьем метронома, к которому поднесли микрофон. В реколом, хотя это принято, не стоял с другими жителями на угоре, а потом не дежурил с удочкой у открывшейся воды. В шашки, на голову разбивая соперников, не рубился. Не пел хриплым голосом: «Та-ган-ка-а! Зачем сгубила ты меня?!» Похороны игнорировал, даже если умирали его несчастные друзья, и в час, когда к дому усопшего с рессорным скрипом подъезжала кузовуха, и деревенские молчали у ворот, он невозмутимо шёл мимо, цокая палкой. Дрова в проулке не пилил и не колол. Можно было подумать, что они – распиленные и расколотые – образовывались во дворе по щучьему велению, а не благодаря сеструхе, которая каждый месяц оперативно вклинивалась в процесс осваивания пенсии и неосвоенную её часть употребляла на то, чтобы мало-мальски обиходить непутёвого родственника. Но и чаяния сестры не возымели конечного успеха: к нестарой вдове, к которой она сватала брата, он завернул раз-другой, с характерным ворчанием поднимаясь на высокое крыльцо без перил, сидел в прихожей, зажав палку коленами, а потом и вовсе забыл дорогу.

Вообще, из всех занятий, которыми нянчат душу на тягучем и муторном выходе из запоя, он, говорят, признавал два: смотрел «видик», без конца гоня советские киноленты, да чинил телевизоры, тоже советские, не сразу попадая в прорезь на шляпке шурупа и некоторое время, пока не почувствует сцепление, прокручивая отвёртку вхолостую, а затем, нагрев паяльник до искрящейся пыльцы на медном клювике, старательно катил по окисленному проводку живую капельку полуды, на глазах уменьшавшуюся в размере, и, энергично подув, завершал её поблёкшим оловянным охвостьем.

Но кое-кто, наверное, вспомнит позднюю осень, когда все давно управились и уже сожгли лыч в поле, надымив под самые облака, холодные и мглистые, как вечерняя заря за облетевшим осинником. На огородах уже никого не было. И только он один, встав на четвереньки и заломив ботву, деревянной ковырлялкой

выворачивал под себя картошку, нёс полное ведро перед собой, придерживая, как женщины живот, а разрешившись быстрым дробящимся стукотом, с жадным прерывистым сопением курил фильтрованную «Приму», стряхивая коричневым ногтем продвигавшийся ко рту пепел. И было в этом сидящем на мешке с картошкой человеке что-то уходящее, старинное, последнее...

Вот и всё. Больше о нём нечего засвидетельствовать, а выдумывать не хочется. Может быть, завтра что-нибудь само скажет о себе, какую-нибудь новую подробность естественным образом вытолкнет сама жизнь, как земля выдавливает на поверхность глубинные залежи. Но это будет завтра, а сегодня надо помолчать. Это, допустим, вы оказались жарким летним днём в тайге, склонились над родниковой лужицей – тихой, нетронутой, со светящейся паутиной поперёк – и, словно собираясь погладить, занесли руку. И тут вас как будто толкнули! Вы пошатнулись и, разбив зеркало воды, потревожили и подняли со дна ил, мёртвых жучков и гнилые листья, и, конечно, отпрянули, ведь чистая вода возмутилась, и надо ждать, когда отстоится. Вот бы и с нашими жизнями так: ушёл человек – а нам бы не торопиться рассказать о нём, дать устаканиться, не мазать грязью, потому что в этом не будет всей правды, а будет много того лишнего, что сопровождало ушедшего при жизни, как та самая лыжная палка. Но вот он скинул сапоги и, растолкав вокруг себя локтями, взмыл свободным, а мы бежим следом и отсюда, с земли, всё ловим его за разматавшиеся портянки...

Но вот, пожалуй, ещё одно о Щорсе.

Когда грустная жизнь его поморгала бакенной лампочкой, которая вот-вот ослепнет, напоследок вспыхнув спиралькой, да и очутилась... там, где ей и надо быть после, от этой невзрачной жизни, завещавшей каждому своё, а кому-то совсем ничего, мне сохранилось на память и службу одно-единственное слово. Оно было сказано по рядовому случаю, а именно тогда, когда я возвращался из леса и, завидев Щорса, скорее взял кобеля на сворку, зная его категорическое неприятие пьяных. На удивление, Шарик никак не отозвался на приближение постороннего, на однообразный стук его палки. Он только поднял голову и вдохнул, когда человек с кошёлкой прошёл рядом и, оказавшись к нам спиной, из-за плеча сказал так кротко, что если бы я не расслышал или отмахнуло ветром, это стало бы по-своему невосполнимой потерей, одной из тех, что мы неизвестно для себя терпим на земной дороге:

– Чё ты его чалишь?! Ведь не кидается он...

Это были первые и единственные слова, которые он сказал мне. Через год или полтора после этого случая, насквозь усталый и больной, Щорс умер на казённой койке и так же тихо, как он ходил при жизни или сказал мне те слова, его схоронили. Но никто, как водится, не услышал и не заметил.

Однако совсем он не ушёл. Его великолепное «чалишь» аукнулось в одной из моих повестей живой и полнокровной частью, и этим невольным вторжением в мою судьбу забытый ныне Щорс закрался в меня однажды и навсегда. Так бывает близко и дорого то, что даёт нам – рождение, талант, силу, красоту, дыхание, тело... Или вот – Слово. И это Слово, сказанное, вероятно, так же, как Щорс смотрел – лишь бы обтечь, тем не менее, обессмертило его. Но не потому, что печатное слово (моё, в частности) не познает тления! А потому что тленный человек, не оставив на земле ничего, кроме лыжной палки и пустых бутылок, после своего ухода вдруг нашёл себе продолжение, а стало быть, не оборвался на истёршемся

узле, пусть ненадолго, но продлился под небом и, поправ смерть, сотворился чем-то помимо самой жизни, тем, что, может быть, назвать не властно и Слово, за все муки и печали, испытые человеком на веку, одарившее его этим чудесным избавлением от забвения.

У меня большое горе – умер близкий человек...

РУССКИЕ ПЕСНИ

Пастухи в смутный осенний день жгут в лугу костёр. Он, она, мальчик лет одиннадцати. Дым. Ветер. Котелок на таганке. Стадо у ельника. В дождь – залезают под навес из досок и ржавого «ураловского» капота вместо крыши. Если затяжной – оттуда, из-под капота, глубокое женское пение: она, Наташа, работает в клубе хористкой...

Это у неё от Бога – петь. В школе выступала на всех утренниках. Ездила даже в район, привозила отстуканные на печатной машинке грамоты с тиснённым Лениным, потом – с двуглавым орлом. А вот учёба не давалась. Экзамены за девятый класс провалила. Шла по школьному двору и ревела, как пела, – навзрыд. Пожалели, поставили тройки, сказав:

– За голос!

Он у неё и вправду – на редкость. Не парит, не звенит, не льётся ручейком, как обычно говорят. Ничего такого! Весь – земной: вот с этим костром на ветру, колбасой на дымном прутике и балаганом за поскотиной, а вслушаться – то и с мужем-пьяницей, с зарплатой в семь тысяч рублей и каким-то неизбывным бабьим горем, понять и пережить которое Наташе как будто довелось ещё девочкой. Такими голосами раньше кричали на похоронах специально обученные плакальщицы. Профессия сошла на нет, а вот способность к этому, сила, страсть и страдание плакальщиц неожиданно проснулись в Наташе. Притом что ничего похоронного в её пении нет.

Песни её русские, народные, а сама Наташа – якутка. После школы потыкалась-помыкалась, некоторое время перебивалась в городе. В девяносто восьмом вернулась, устроилась в родную школу техничкой, хотя ей говорили, чтоб не зарывала талант и поступала в Иркутское культпросветучилище. У неё уже был ребёнок, отец которого внезапно умер. И Наташа, конечно, никуда не поехала, сошлась с бывшим одноклассником. Расходились, снова сходились. Жили в брусовой квартирке на берегу. Он нигде не работал, разве что зимой иногда возил дрова на гусеничном тракторе, а с весны до поздней осени пастишил. Она приходила к нему после смены – не столько помогать, сколько следить, чтоб не запил и не распустил стадо. Когда сын подрос, стала и его отправлять – следить.

Потом в клубе освободилось место, и Наташу позвали. Наверное, вспомнили про её талант и понадеялись, что всё-таки поступит в училище, хотя бы на заочное отделение. Ей было уже тридцать, и она тем более не поехала. Наоборот, стала опаздывать, а то и вообще прогуливала. И тогда ни её, ни сожителя в лугу не видели, Витёк пас один. Зато в квартирке на берегу становилось шумно и весело, и когда отворялась дверь, был слышен Наташин глубокий голос. Она пела про сирень и про то, как любимый целовал её колени. Вокруг смеялись, а Витёк просил:

– Мам, не пой! Они же над тобой угорают...

Спустя день-другой объявлялась, оплывшая и красная, с расстроенным горлом, в котором сипела какая-то ослабшая струнка. В перерывах между репетициями лущила пачки с таблетками, без конца мерила давление, вжикая тонометром и с треском отдирая липучку, – и курила, курила!

По утрам он привозил её на мотоцикле с дощатым коробом, в котором сидела собака, высаживал возле клуба, а сам ехал в луг, где управлялся Витёк. Под вечер приезжал, сигналил, сманивал за собой. Месяц, второй... И Наташа снова пропадала, пока не приходили с работы. Так повторялось раз за разом, за тем исключением, что «скорая» всё чаще мигала в темноте и забирала Наташу в город, где её обкалывали под системой и пичкали лекарствами. В последний раз её предупредили, что больше живой не довезут.

Год, другой, третий такой жизни – и Наташин голос надломился, сдвинулся, и там, за открывшимся краем, оставалось всё меньше света, надежды, силы.

Теперь уже не только репетиции, но и сами районные концерты, к которым долго готовились, Наташа стала избегать. Отключала телефон и запиралась в доме, а то высылала сына – сказать, что её нет и не будет. Он же, Витёк, несколько раз приносил записки, в которых Наташа просила уволить её по собственному желанию.

Неделю назад Наташа умерла. Ей было тридцать шесть. Хоронить пришли со всех концов посёлка. Приехали даже подружки, с которыми не виделись со школьной поры. Сенцы были тесные и узкие, и гроб подавали через окно.

Тётка Саяра, старая тощая якутка, шла за гробом в расстёгнутых суконных сапогах и кричала:

– Доченька, это я тебя не углядела!

Везли на грузовой машине мимо ельника и навеса в лугу, где Наташа с мужем и сыном пасла стадо. Был ясный солнечный день, над навесом трепетала от ветра Наташина косынка, которую она для чего-то повязала за день или два до смерти. И многие, глядя на эту косынку, говорили, что Наташа «чувствовала».

Поминки были долгие, в три потока. Сначала поминали друзья и одноклассники, затем – земляки и коллеги по работе, и лишь в конце – родственники.

После её смерти одни сказали:

– Он, сволочь, втравил её!

Другие:

– Спилась и оставила сына сиротой!

Третьи обсуждали, как её ужасно раздуло в гробу. И только Дуська с Береговой вспомнила, что однажды разругалась с мужем, прибежала к Наташе на пастбище, обе поплакали, сидя под навесом, и Наташа пела ей русские песни.

